
В. В. БАБАШКИН, С. И. ТОЛСТОВ

ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 1930–1950-Х ГОДОВ

Тема коллективизации сельского хозяйства в СССР 1930-х годов чаще всего звучит в последнее время в отечественной исторической литературе и публицистике – не говоря уже о западной историографии – в контексте критики сталинизма. Однако коллективизация имела значительно более глубокие корни в предшествующем этапе аграрной эволюции России, нежели принято считать. По мнению авторов статьи, крестьянская деревня сумела относительно безболезненно приспособиться к новым экономическим и политическим условиям, к новому формату «колхоз-деревня». Совершенно иначе дело обстояло с хрущевским аграрным реформированием – бездумным укрупнением колхозов и ликвидацией «неперспективных деревень», что некоторые аналитики называли «второй коллективизацией».

Ключевые слова: *альтернативная история, самоэксплуатация, сопротивление, приспособление, «оружие слабых», «вторая коллективизация», «неперспективная деревня».*

«Особенности» в гуманитарном лексиконе всегда ходят рука об руку с «закономерностями». Не хотелось «утяжелять» заголовок статьи, но писать об одних, не претендуя на знание других, нельзя. При внимательном рассмотрении в пореформенный период истории Отечества обнаруживается любопытная закономерность: не успеют исчерпаться большие потенциальные возможности одного способа социально-экономического устройства, как ему на смену приходит новый, к которому народу дай бог успеть приноровиться, но наступает либо очередная великая реформа, либо даже то, что принято называть «революцией». Пореформенный период как раз и начался у нас революционным преобразованием, которое в феврале 1861 года было даровано сверху всем сословиям Российской империи. И длится этот исторический период до сих пор, поскольку совершенно очевидно, что означенная закономерность продолжает действовать, обеспечивая единство его внутреннего содержания.

О больших потенциальных возможностях дореформенного аграрного устройства России пишет, например, В. Т. Рязанов (2011),

подчеркивая эффективность в целом помещичьего строя с точки зрения экономико-административной организации и показывая те предпосылки, которые могли бы в действительности (а не в головах реформаторов) ставить на повестку дня отмену крепостного права. При размышлении о возможностях последующих пяти десятилетий, главную суть которых составили насильственная либерализация и монетаризация поземельных отношений, вспоминаются столыпинские двадцать лет покоя – внутреннего и внешнего, – по истечении которых представители разных категорий населения страны не узнали бы Россию. Она изменилась до неузнаваемости куда раньше. Правда, как раз вследствие внутреннего непокоя (крестьянская революция 1902–1922 годов [Данилов 1996; 1997; Кондрашин 2008]), который с августа 1914 года очень сильно усугублялся внешним. Некоторые исследователи используют специальный термин – «архаизация деревни», чтобы подчеркнуть, что в годы Гражданской войны крестьянское хозяйство по характеру социально-экономической организации было отброшено назад на добрую сотню лет или даже больше (Данилов 1992; Бабашкин 2015).

Означает ли это, что к 1918–1920 годам рыночные возможности аграрной эволюции России исчерпались? Нет, конечно. Но это совершенно разное «нет» в устах современных «сталинистов» и мыслителей либерального толка. Для первых нэповский квазирынок – сподручное средство для скорейшего восстановления производственного потенциала страны и не более того. Для вторых нэп – самое блестящее историческое доказательство того, что рынок составил бы куда лучшую основу для социально-экономического развития СССР, нежели сложившееся в 1930-е годы жесткое администрирование народного хозяйства. Потенциальные возможности дальнейшей эволюции многоукладной нэповской деревни в пику сталинской коллективизации – отдельная песня. О столыпинской аграрной реформе в историографии и публицистике последнего времени сложился целый эпос, прикасаясь к которому трудно отделаться от ощущения, что история таки выделила реформатору искомые годы покоя, в результате чего Россия воссияла.

Немало написано и о том, как все здорово могло бы быть с производственными показателями советского сельского хозяйства и социально-демографическими характеристиками деревни, если бы не случилось кошмара принудительной коллективизации. Классикой жанра здесь можно считать работы американского историка-

экономиста Г. Хантера, которые он начал публиковать еще в 1973 году. Согласно его скрупулезным подсчетам, положи тогда советские лидеры другие принципы в основу своего аграрного реформирования, достижения были бы впечатляющими. Если бы дальнейшее развитие получили экономический плюрализм, рыночные методы регулирования народного хозяйства, разные формы кооперации и т. п., аграрный сектор советской экономики мог бы на протяжении 1930-х годов обеспечивать тот же уровень вложений в другие отрасли экономики и тот же страховой продовольственный запас на случай войны, как это имело место в действительности. Но при этом продовольственное потребление граждан могло бы поддерживаться на уровне 1928 года, а было бы этих граждан на 15 (!) млн. больше, чем в реальной истории, – прямые и косвенные людские потери, которыми обернулись голод и насилие, сопровождавшие коллективизацию (Бабашкин 2015). Весьма привлекательная ретроспектива.

Конечно, в нашей аграрной историографии 1970-х и большей части 1980-х годов на такое даже критически реагировать было совершенно не принято – очевидно, чтобы не заострять проблему. Колхозная политика выглядела в трудах ученых как воплощение научного подхода партии к решению практических задач. Имя И. В. Сталина в этой связи старались особо не упоминать, равно как и трагедию голода 1933 года. Колхоз полагалось считать чем-то принципиально новым по сравнению с архаической крестьянской общиной. Критерий новизны – масштаб. Колхоз – крупное предприятие, и развитие его связано с объективно необходимым дальнейшим укрупнением. Крестьянский двор – странная смесь мелкобуржуазности и архаики, с неизбежностью сметаемая железной поступью прогресса. И укрупнение колхозов в 1950-е годы, и политика руководства по отношению к личному хозяйству (ЛПХ) колхозников вполне укладывались в такой как бы научный взгляд.

Однако к рубежу 1980–1990-х годов такая «наука» уже не работала. Пресловутая перестройка действительно принесла ускорение: ускорило обострение кризиса во всех отраслях народного хозяйства СССР, включая агропромышленный комплекс и собственно колхозное производство. Рухнула и казавшаяся железобетонной идеология марксизма-ленинизма, или научного коммунизма, так как было понятно: если вместо прописанного в партийной программе к 1980 году общества благоденствия мы к 1990-му получили нечто совсем уж альтернативное, значит, в основе программы –

не та наука. А какая же была нужна? Вот тут-то очень ко двору прихлалась идея о том, что Сталин чуть ли не лично избрал не тот путь аграрного реформирования и буквально силком втолкнул страну в коллективизацию, исключив такую замечательную альтернативу. Идея этих вариаций на тему коллективизации стала одной из сквозных тем регулярно работавшего в 1990-е годы теоретического семинара «Современные концепции аграрного развития» (Бабашкин 2015). Это был, пожалуй, самый эффективный способ разоблачения сталинизма, оттеснивший на вторые позиции даже ГУЛАГ и 1937 год.

Затем, должно быть, и потребовалось в 1990-е годы заново разоблачить сталинизм, чтобы виделось буквально какое-то обретение новой веры. На время она действительно была обретена: не в коммунизм – так в антикоммунизм. Тем более что в рамках последнего было детально разьяснено, что делалось неправильно в новейшей истории России и как нужно было бы делать по уму. Казалось, если мы пойдем такое о своем прошлом, настоящее вознаградит нас с лихвой. Много и увлеченно говорили о «катарсисе» «десталинизации», о необходимости покаяния. Вокруг этого сложилась целая государственная идеология, ибо образовавшийся на ее месте вакуум после обрушения марксизма-ленинизма требовал какого-то заполнения. Западные советологи вроде Р. Конквеста и Р. Такера охотно помогали нам в этом. Своих «десталинизаторов» появилось немерено. Результаты этой суетливой деятельности очень красноречиво говорят: это опять совсем не тот путь самоанализа, какой нам нужен.

Почему опять? Ведь в результате массы нелепостей и несправедливостей, имевших место в последние тридцать лет в области экономической, социальной, идейной и культурной политики, мы вроде бы очень остро и дружно стали ностальгировать по СССР, в котором историческое прошлое, настоящее и будущее осознавались в железной логике «Краткого курса». А эта логика в течение полувекa вплоть до перестройки существовала в качестве советской государственной религии, легко и решительно пресекая всяческие ереси. Что с ней было не так?

Охотников отвечать на этот вопрос немало, и мы – среди них. Наш ответ для начала отсылает к сформулированной выше закономерности. Исчерпало ли себя аграрно-экономическое устройство страны накануне тех известных бурных событий 1917 года, которые ошибочно отождествляются с Русской революцией? Офици-

альная советская историческая наука говорила свое решительное «да», в котором слышались пережитки и феодально-помещичьей системы хозяйствования, и натурально-потребительского крестьянского средневековья, и каким-то образом исчерпанность возможностей аграрного капитализма. Историки «нового направления» в хрущевскую оттепель только лишь заикнулись о том, что никакого аграрного капитализма в российской истории не существовало, как эта ересь была весьма решительно пресечена как нарушавшая логику «Краткого курса». Причем пресечена уже послехрущевскими идеологами и политиками (Анфимов 2002; Зырянов 2015). А логика была в том, что «социалистическое» сельское хозяйство (коллективизация) может воспоследовать лишь за капиталистическим как новый, более совершенный тип социально-экономического устройства.

Такую логику в последнее время любят называть вульгарным марксизмом. Воздержимся от интересной дискуссии о том, были ли В. И. Ленин и тем более И. В. Сталин марксистами. Однако отметим, что марксизм в принципе («невульгарный») склоняется к тому, что экстенсивный путь аграрного развития России к 1917 году себя исчерпал. Замечательный петербургский историк-аграрник А. В. Островский всегда позиционировал себя в качестве марксиста – причем не в смысле научного коммунизма, а в том самом смысле материалистической диалектики и экономического детерминизма (Островский 2014). Из-за этого он имел проблемы и с защитой докторской диссертации, и с публикацией своей исторической аналитики, рвущей в клочья как коммунизм, так и антикоммунизм (Дискуссионные... 2014). 17 сентября 2014 года в Центре аграрных исследований РАНХиГС он выступил с докладом «Дискуссионные проблемы аграрной эволюции пореформенной России», в котором кратко и хлестко доказывал неизбежность радикальных перемен в тогдашнем аграрном устройстве страны. Концовка его выступления просто провоцировала острую полемику: «В первых числах марта 1917 г. от имени Земского союза, Союза кооператоров и Московского общества сельского хозяйства был опубликован доклад “Неотложные мероприятия по земледелию в связи с народным продовольствием в 1917 г.”. В нем говорилось, что объективные условия “толкают Европу и Россию на путь национализации и кооперативизации сельскохозяйственного производства” и что “такая, вероятно, осуществится в ближайшем будущем”» (Там же: 136). Получается, нечто вроде коллективизации по Сталину было

объективно детерминировано диалектикой развития исторических событий задолго до того, как генсек пришел к этому в теории и на практике.

Островский сам признался, что именно в этом направлении хотел спровоцировать полемику при обсуждении доклада, нарочно закончив его прогнозами современников по поводу неизбежности коллективизации сельского хозяйства. Поскольку это не вполне удалось, он в своем заключительном слове привлек внимание присутствовавших коллег к ряду исторических фактов. Это и опыт коллективизации по инициативе Министерства финансов и при поддержке великой княгини Елизаветы Федоровны в Пермской и Херсонской губерниях в конце XIX века, и то внимание, которое уделялось производственной кооперации (а по сути – коллективизации) деревни в документах Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902 года. «А в 1913 г., – подчеркивал ученый, – Первый сельскохозяйственный съезд в Киеве, на котором собрались те самые агрономы и землемеры, которые проводили столыпинскую аграрную реформу в жизнь, уже ратовал за необходимость создания в деревне коллективных хозяйств. Разве можно игнорировать этот факт? И уже тем более нельзя игнорировать доклад Совета съезда представителей промышленности и торговли. Когда я впервые его прочел, у меня сложилось впечатление, будто бы я читаю советские газеты конца 1920-х – начала 1930-х гг.» (Дискуссионные... 2014: 158–160).

Согласимся, что все это придает какое-то непривычное звучание ставшему в нашей аграрной историографии обычным словосочетанию «сталинизм и крестьянство» (Данилов 1999). А если принять во внимание и такие предпосылки коллективизации, проявившиеся еще в XIX веке, как коллективная запашка, принудительный севооборот, система открытых полей, выпас скота по жнивью (Дискуссионные... 2014; Бабашкин 2015), начинаешь всерьез сомневаться, такими ли уж антиподами являются сталинизм и крестьянство. В рецензии на сборник статей «Сталинизм и крестьянство» А. И. Колганов (2016) резонно отмечает, что понятие «сталинизм» пока толком не определено и каждый автор пишет в этой связи о чем-то своем. Так, ведущий круглого стола на ту же тему директор Центра аграрных исследований РАНХиГС А. М. Никулин, заключая дебаты, процитировал одну из редакций знаменитого стихотворения О. Мандельштама: «...Только слышно кремлевского горца – душегуба и мужикоборца...» – и высказал пред-

положение, что сталинизм – это прежде всего «мужикоборчество», «крестьяноборчество» (Марченя 2013: 445).

Следует отметить, что большинство участников дискуссии говорили совсем не об этом. В кои-то веки тема нэповской альтернативы сталинской коллективизации вообще не озвучивалась, очевидно, как отработанный материал в историографии. Зато был высказан ряд соображений, подкрепляемых фактами, относительно того, насколько органично произросла коллективизация из сложнейшего клубка противоречий нэповской политики и нэповской деревни. Говорилось и о том, насколько неоднозначным было в разных регионах СССР крестьянское восприятие этого поворота в аграрной политике. Например, А. П. Скорик из Южно-Российского государственного технического университета говорил о том, насколько малопригодна для станиц Ставропольского края мифология новейшей историографии, связанная с представлениями о сплошной коллективизации, масштабах насилия над крестьянами, раскулачивании и т. п. Рассказал он и о том, что в ходе коллективизации в регионе, помимо колхозов и сельхозартелей, в деревне создавались еще и некие структуры социальной направленности, о которых сейчас, по понятным соображениям, мало пишется и говорится, но которые вполне отвечали крестьянским представлениям о справедливости. А известный историк аграрных отношений из Минска О. Г. Буховец провел сравнение крестьянских протестных выступлений на территории Советской Белоруссии и той части региона, что отошла к Польше. Сравнение это по масштабам и способам подавления получилось явно в пользу советской аграрной политики (Там же).

Блестящий знаток аграрной истории России XX века профессор Манчестерского университета Т. Шанин признал тогда, что в прозвучавших выступлениях коллег содержится много таких вещей, которые требуют неторопливого и добросовестного осмысления. По его мнению, «нужно непременно встретиться опять для рассмотрения этой темы. Действительно, так много “легло на стол”, что я лично, несмотря на то, что это “мое поле”, чувствую, что меня засыпало разной информацией и разными вопросами. И хочется сначала подумать, а потом продолжить, а не спешить» (Там же: 438). Это признание тем более ценно, что Шанин – один из основоположников крестьяноведения как теории, истории и исторической социологии аграрных обществ, чрезвычайно много сделавший для продвижения этой методологии в современное российское обще-

ствоведение. Он сформулировал в свое время концепцию о трех известных истории человечества спонтанных способах перехода общества от аграрно-крестьянского состояния через модернизацию к современному состоянию. Однако сталинскую коллективизацию он в это число не включил: «Особняком от трех спонтанных вариантов развития стоит осуществление государством коллективизации деревни как следствие возрастающей мощи современного государства и стремления революционных лидеров одним махом решить проблему развития, основываясь на социалистическом, коллективистском миросозерцании. Эта модель качественно отличается от естественных путей развития, поскольку представляет собою план, который разрабатывается и реализуется политическим руководством. Какие-либо общие оценки этого развития во всем разнообразии его форм кажутся преждевременными. В Советском Союзе, где были предприняты первые шаги на этом поприще, специфика крестьянской жизни, вековые традиции крестьянского поведения, ведения семейного хозяйства обнаружили необычайную сопротивляемость осуществлению разработанных в городе планов» (Shanin 1990: 32).

Аналогичный взгляд на советскую коллективизацию обнаруживаем у другого классика западных *“Peasant Studies”* – американца Дж. Скотта, автора столь популярных в современном крестьяноведении концепций, как «моральная экономика» крестьянства (Scott 1976; Бабашкин 2015: 26–70) и «оружие слабых» (формы повседневного скрытого сопротивления жителей крестьянской деревни политике извне) (Scott 1985; Скотт 1996). С его точки зрения, коллективизация – один из примеров масштабной аграрной реформы, проводимой государством диктаторского типа жесткими средствами и в соответствии с планом, слабо учитывающим крестьянскую реальность, психологию, менталитет и т. п. Результат – жесткое же столкновение желаемого (задуманного) с действительностью, существенно меняющее и первое, и последнюю: «...чиновники, руководившие этим обширным преобразованием, ничего не знали об экологических, социальных и экономических условиях, что и подписало приговор сельской экономике. Они мчались вслепую» (Скотт 2005: 318). «Чтобы более всесторонне оценить эти 60 лет коллективизации, – пишет он далее, – требуются и архивные материалы, только теперь ставшие доступными, и большая компетентность, чем моя. Но даже случайного исследователя коллективизации должно поразить, насколько значительна была неудача

реализации *каждой* из ее высокомодернистских целей, несмотря на огромные инвестиции в машинное оборудование, инфраструктуру и агрономические исследования» (Скотт 2005: 335).

Рискнем поспорить с классиками, отталкиваясь от постулатов той гуманитарной науки, признанными классиками которой они и являются. С точки зрения крестьяноведения нельзя рассматривать «эти 60 лет коллективизации» как единую политическую линию только на том основании, что социально-экономические объединения сельских жителей в массе своей именовались одним и тем же словом «колхозы». Такой взгляд – как раз удел высокого модернизма, будь то научный коммунизм или рыночный либерализм. Наука о крестьянах просто обязана углядеть в этой истории колхозной деревни три приблизительно равновеликих этапа, соответствующих понятию «поколение». Это, во-первых, двадцатилетие сталинской аграрной политики; во-вторых, высокий модернизм Хрущева и его непосредственные результаты к началу 1970-х годов; наконец, в-третьих, это время эволюции советской деревни, когда стали сказываться далеко идущие последствия хрущевской «второй коллективизации», завершившиеся официальным провозглашением колхозов в качестве воплощения всяческого зла и их законодательным искоренением (Данилов 2006).

Первый из этих этапов следует рассматривать как историческое воплощение тех глубинных предпосылок коллективизации, о которых упоминалось выше (плюс целого ряда предпосылок, о которых следовало бы упомянуть) (см. об этом: Бабашкин 2007). Мы уверены, что если бы Дж. Скотт располагал обширными фактами советской крестьянской повседневности 20–30-х годов, он с удовольствием обнаружил бы, что тогдашние колхозы прекрасно вписываются в концепцию «моральной экономики» крестьянства, лишь подтверждая ее состоятельность как аналитического инструмента. А что касается «необычайной сопротивляемости» крестьян колхозной политике (Шанин), она достаточно скоро трансформировалась в необычайную приспособляемость к этой политике. Нечто подобное имело место в нашей истории семью десятилетиями ранее, когда волна открытых крестьянских бунтов против дарованного в 1861 году освобождения, жестоко подавленных правительством, сменилась чем-то вроде внешнего примирения – «плетью обуха не перешибешь». Это в принципе не противоречит концепции «оружия слабых», поскольку грань между повседневным пассивным

сопротивлением и пассивным (равно как и активным) приспособлением к политике властей зыбка и эфемерна.

Так, крестьяне в 1930-е годы, поняв, что представляет собой сталинская коллективизация, расшифровывали ВКП(б) как «второе крепостное право». Это верно по сути, остроумно по форме и вполне может быть отнесено по классификации Скотта к тем формам «оружия слабых», пассивного сопротивления, которые мощно работают на крестьянскую солидарность на уровне устного фольклора, злословия. А если вспомнить еще и шальную деревенскую политическую частушку и зарождавшийся политический анекдот – есть где разгуляться исследователям крестьянской повседневности. Существует, однако, и принципиальная разница в приспособительных реакциях деревни в связи с отменой «первого» крепостного права и наступлением «второго». К временнообязанному состоянию и выкупному платежу крестьяне так и не сумели толком приспособиться, все окончилось Русской революцией XX века.

В 1930-е годы механизм взаимодействия между государством и крестьянством стал изменяться коренным образом. Свою субъектность в отношениях с государством крестьяне волей-неволей делегировали поддающемуся воображению оптимальному по размеру колхозу, каковым представлялся «колхоз-деревня». В его границах на эмпирически-интуитивном уровне можно было отстаивать свой коренной интерес, о котором мы имеем представление благодаря «Крестьянину и крестьянскому труду» Г. И. Успенского и ряду других столь же глубоких текстов русской литературы: замкнутость труда на природу, жизнь в системе «человек – природа». Будущность деревни виделась ее обитателям в автономном развитии, а ее целостность как очага местного социально-экономического и культурного бытия представлялась гарантией крестьянского суверенитета и самоуправления. Государство, со своей стороны, столкнувшись с деревенским «упорством в истине», оставило амбициозные планы коренного переустройства деревни, взяв курс на прагматический симбиоз.

Итак, начиная с 1930-х годов основной базовой социально-производственной единицей в сельской местности было уже не крестьянское хозяйство как одна из «организационных форм частного-хозяйственного предприятия» (Чаянов 1992: 132), а коллективное хозяйство. На протяжении первых двух десятилетий существования колхозы представляли собой артельные объединения крестьян одной деревни или ее части, и в этой связи они органично стали

преемниками социальных функций сельской общины. Вековой опыт социальной самоорганизации деревни послужил основой для того, чтобы исторически новые коллективные практики крестьянского хозяйствования вписывались в эту самоорганизацию более или менее органично. В послевоенный период такие социально-производственные единицы, будучи одновременно и деревней, и колхозом и неся в себе существенные черты прежней сельской общины, были интегрированы в процессы дальнейшей модернизации страны. Понимаем, что такая постановка вопроса для нашей историографии небесспорна. Когда-то В. П. Данилов оппонировал С. П. Трапезникову именно в вопросе о том, наследует ли колхоз общине или разрушает сами основы ее. По убеждению Данилова, коллективизация стала смертным приговором общине с ее институтами патриархальной демократии, эволюционировавшей к социализму через развитие всех форм крестьянской кооперации. Трапезников полагал, что демократизм и коллективизм общины подготовили переход к колхозному строю, который был тождествен социализму (Бабашкин 2015). С точки зрения такого авторитетного специалиста в этом вопросе, как В. В. Кабанов (1996), ближе к истине в том споре был все-таки Трапезников.

Наше мнение по этому вопросу сводится к тому, что базовые стереотипы и мотивы трудовой деятельности жителей деревни не претерпели резких изменений вследствие коллективизации. Крестьяне, объединенные в колхозы, продолжали практиковать комбинацию из двух, казалось бы, взаимоисключающих поведенческих стратегий: «этика праздности» (или «рационализм пропитания» [Бабашкин 2015]) и самоэксплуатация. Сиюминутная комбинация этих стратегий определялась потребностями семьи, давлением государства и собственной оценкой, насколько разумно и справедливо это давление. Есть основание полагать, что люди в руководстве – от председателя колхоза до Сталина на самом верху – отдавали себе отчет во всем этом. Дальнейшее развитие сельского хозяйства и экономики страны в целом мыслимо было именно с опорой на колоссальный потенциал самоэксплуатации, свойственный крестьянству по определению. Директивно-адресное управление деревней представлялось нецелесообразным. Поистине огромные задания, возложенные на колхозную деревню, привели к мобилизации всего трудового потенциала послевоенной артельной деревни, на что и делался расчет в высшем эшелоне власти. Из деревни черпались трудовые ресурсы для города. И деревне вновь

предстояло стать источником восстановления промышленности, как и в эпоху индустриализации. И снова посредством неэквивалентного товарного обмена с промышленностью и государством – другого пути не существовало.

В послевоенные годы, решая проблему повышения эффективности сельскохозяйственного производства, государство ориентировалось на укрепление колхозов как управляющей системы, в которой традиционные крестьянские семейно-трудовые хозяйства как объект управления были в определенной мере и субъектом такового. В деревне в то время имел место серьезный дефицит рабочих рук. А в семейно-трудовом хозяйстве «запас рабочей силы, ее состав и степень трудовой активности всецело определяются составом и размером семьи» (Чаянов 1992: 132). Руководство страны в те годы ощущало необходимость, опираясь на нормы и принципы, свойственные семейно-трудовому крестьянскому хозяйству, и на все еще существовавшие представления крестьян о себе как о хозяйствующих субъектах, т. е. как об организаторах собственной трудовой деятельности, ввести огромную массу идентичных хозяйствующих субъектов – колхозов – в режим самоуправления. Оптимальной для этих субъектов и была такая организационно-производственная форма, как «колхоз-деревня», позволявшая крестьянскому двору сохраняться, хотя и претерпевая значительные изменения. Примерный Устав сельхозартели в 1935 году узаконил его как ЛПХ, роль которого в историческом поиске баланса интересов крестьянства и государства была очень велика. В нем мотивировалось добросовестное самозабвенное крестьянское отношение к труду – в том числе и в колхозе. Такое крестьянское дворохозяйство обнаружило в целом конформистское отношение к необходимости отказаться от хлебопашества и передать эту трудоемкую отрасль исключительно общественному сектору. А сама работа в колхозном производстве стала одним из видов хозяйственной деятельности крестьян, заинтересованных в суммарном семейном доходе.

Значительное налоговое давление на деревню не должно было выйти за допустимые пределы, за которыми, по понятиям крестьян, наступала неприемлемая эксплуатация, нарушающая законы «моральной экономики», в частности свободу в самоэксплуатации. Для государственного руководства важно было не допустить неправильного перераспределения результатов крестьянского труда, что было чревато переключением крестьян с адаптационных практик

жизнедеятельности на всевозможные пассивные формы протеста («оружие слабых»). Поэтому со стороны государства предусматривалась существенная помощь колхозам, в первую очередь осуществлялась весьма значительная механизация сельского хозяйства. В послевоенное десятилетие на село пришло большое количество сельскохозяйственной техники, особенно тракторов. Как известно, техника была сосредоточена на машинно-тракторных станциях (МТС), т. е. колхозы были избавлены от необходимости покупать и обслуживать ее. За услуги МТС колхозы расплачивались произведенной продукцией. Это (а также существовавший товарообмен с промышленностью) избавляло колхозы от необходимости добывать «живые» деньги, затрачивая дополнительные трудовые и денежные ресурсы на организацию сбыта произведенной продукции. Все перечисленное было своеобразной формой дотирования деревни.

За счет роста производительности труда увеличивался совокупный объем сельскохозяйственного производства, и в процессе перераспределения результатов труда колхозного крестьянства в перспективе подразумевалось установление эквивалентного обмена между деревней и городом. Кроме того, рост производительности труда давал основание надеяться на преодоление в ближайшем будущем дефицита трудовых ресурсов на селе, с тем чтобы и далее – уже без ущерба для колхозного производства – пополнять город кадрами. Для власти была очевидна неизбежность миграции сельского населения в города в условиях начинающейся урбанизации. Из села люди уезжали в город еще с довоенного времени, и с этим фактором, несущим реальную угрозу как сельскохозяйственному производству, так и сельскому расселению, а в конечном счете и существованию деревни как таковой, приходилось считаться.

Миграции во многом можно рассматривать как своеобразные приспособительные стратегии, порождаемые деструктивной социально-экономической политикой государства. Снизить миграционный отток призвано было установление некоего баланса интересов между городом и деревней, формирование логики конструктивного взаимодействия между предприятиями государственной собственности, колхозами и ЛПХ. Изменения в сельском образе жизни логично шли бы параллельным курсом с таковыми в городском – а не по тем траекториям, что символизируют ножницы. Гордость за принадлежность к крестьянству, изначально нравственному, ибо оно по определению обуславливает свое положение не злой и доб-

рой волей людей, а своим трудолюбием и хозяйственной замкнутостью на природу, сохраняло бы за родной деревней оценку самого лучшего на Земле места для жизни.

Вот так в самых общих чертах выглядит в нашем восприятии модель послевоенной аграрной политики советского государства. И мы не случайно использовали в последних фразах сослагательное наклонение. Коллеги, которые писали (и пишут) о потенциальных альтернативах коллективизации 1930-х годов, также черпали (и черпают) вдохновение в своих представлениях о нэповском экономическом и политическом плюрализме, многоукладности, крестьянской кооперации и т. д. Отсюда и внутренний протест против того, что все это столь безапелляционно, чисто «по-нашенски», было отброшено. Чем сильнее в этой связи моральное возмущение пишущего о коллективизации, тем более мрачными из-под его пера выходят страницы самой коллективизации (раскулачивание, спецпереселенцы, голод). В этом мощный методологический потенциал идеи исторической альтернативы. Это как в математике доказательство от противного. Поэтому, конечно же, многие специалисты склонны будут к очень жесткой критике тех параметров сталинской аграрной политики, которые мы набросали выше, – критике с использованием своих исследовательских наработок, своих теоретических взглядов. Но ради этого и проводится данная наша провокация. Мы готовы отвечать, и будущая полемика должна приблизить нас к пониманию чего-то очень важного в отечественной истории. Несомненно, вскроется множество факторов и фактов, которые нельзя не учитывать в таком споре. Попробуем коснуться здесь только одного из них.

Речь идет о личности Н. С. Хрущева и его персональном вкладе в слом сталинской логики дальнейшего социалистического строительства в СССР. Когда историки критикуют разные аспекты внутренней политики в бытность его главой партийно-государственной машины, поворот с сентября 1953 года в аграрной политике рассматривается в основном в позитивном ключе. Пришла, мол, пора возвращать долги колхозной деревне, и Никита Сергеевич стал делать это, что называется, ничтоже сумняшеся. А когда пишут о столь же решительном выступлении на XX съезде партии с осуждением культа личности, непременно упоминают о роли, которую здесь сыграла личная обида на вождя, в частности из-за известного ответа на его телеграмму о необходимости увеличить квоты на репрессии в Украине в 1938 году (Косолапов 2002). Однако у буду-

шего реформатора советского села был и более актуальный повод для аналогичной обиды. Его попытки в начале 1950-х годов выступать в роли теоретика и практика в решении аграрного вопроса (отметим, самого главного и сложного вопроса для истории России всех времен, включая и нынешние) вызывали ироническую реакцию у Сталина, который однажды в этой связи публично назвал его «наш маленький Маркс» (Яхновская 2014). 4 марта 1951 года Хрущев выступил в «Правде» с популистской статьей «О строительстве и благоустройстве в колхозах», в которой рассуждал об укрупнении колхозов, создании агрогородов и сселении в них жителей малых деревень как об объективных закономерностях строительства социализма. Сталин резко одернул мечтателя, и уже 6 марта последний обратился с покаянным письмом, униженно признавая всю глубину своих ошибок и заблуждений и изъявляя готовность выступить в партийной печати с самопровержением (Закрытое... 2006).

С одной стороны, не случись этого инцидента в нашей партийной истории, мы бы, может быть, не имели того документа, который помогает историку лучше понять основные параметры аграрно-крестьянской политики, которую намеревалось осуществлять партийное руководство в начале 1950-х годов. Очевидно, появление этой статьи в «Правде» послужило поводом не только для хрущевского покаяния, но и для Закрытого письма ЦК ВКП(б) от 2 апреля 1951 года «О задачах колхозного строительства в связи с укрупнением мелких колхозов», в котором предложения ряда партийцев о форсированном массовом сселении деревень в крупные колхозные поселки и агрогорода были обозначены как ошибочные и в корне неправильные (Там же). С другой стороны, этот эпизод наверняка до предела сжал ту пружину в душе будущего Первого секретаря ЦК КПСС, которая, распрямляясь в новых исторических условиях, генерировала энергию «второй коллективизации» (Никулин 2014) и окончательного огосударствления колхозов.

Никто не отрицает тот положительный эффект, который давал поток государственных капиталовложений в сельское хозяйство и сельскую инфраструктуру. Отрицательно другое: крестьяне в общем и целом повели себя в новых условиях не так, как ожидали незадачливые реформаторы, а приблизительно так, как это и было предсказано в Закрытом письме ЦК от 2 апреля 1951 года. А это могло причинить лишь дополнительные моральные страдания новому руководителю партии и страны, а лучше сказать, не могло не

вызвать его бешеную ярость. Одним из результатов стало то, что обычно и происходит с дюжинным политиком: отрицание очевидного. Через 7 лет после доведения до членов партии основных принципов дальнейшего курса аграрной политики в истории партии появился весьма любопытный документ: Выписка из протокола № 148 заседания Президиума ЦК КПСС от 1 апреля 1958 года «Об отмене Закрытого письма ВКП(б) от 2 апреля 1951 г. “О задачах колхозного строительства в связи с укрупнением мелких колхозов”» (Никулин 2014). Суть документа донельзя проста: начиная с публикации от 4 марта 1951 года в «Правде» т. Хрущев был кругом прав в аграрном вопросе, а т. Сталин – нет.

К другим, куда более мрачным, результатам начальственного гнева можно отнести санкции в отношении ЛПХ и репрессии против наиболее упорных в своей крестьянской правоте их владельцев, а также разрушение сложившейся сельской поселенческой сети в разнообразных регионах огромной страны, включая Западную Сибирь и такую важную ее часть, как Томская область (Толстов 2012; Усольцева 2013). В дальнейшем, когда стали сказываться наиболее тяжкие последствия уничижительного клеймения массы сельских поселений «неперспективными деревнями», представители партийной номенклатуры предприняли попытку переложить ответственность на ученых-аграрников.

Навет был возведен на ученых группы Т. И. Заславской и прежде всего на нее саму в том, что якобы они и есть главные виновники печальных последствий социально-экономической политики партии на селе. Они, мол, придумали несостоятельную теорию «неперспективных деревень» и агрогородов, партия доверилась, результат налицо. Это был очень грамотный, как теперь говорят, пиар-ход со стороны партийной номенклатуры. Когда и политические публицисты-конъюнктурщики вроде Ю. Д. Черниченко, и настоящие писатели-деревенщики в резонанс с общественным мнением недоумевали: что стало с деревней и кто за это ответит, подбросить публике четкий ответ на это вечное наше «кто виноват?» было разумно, психологически точно. Сделано это было руками профессионального литератора, секретаря правления московского Союза литераторов А. С. Салуцкого. И теперь об этом пишут в статьях памяти академика Т. И. Заславской (Никулин 2014).

С горечью вспоминала об этом и сама Татьяна Ивановна, прямо указывая, кому и зачем понадобилась тогда, в январе 1989 года,

клевета Салуцкого (Заславская 2007). Но клевета сработала, как и положено любому, даже самому незамысловатому действию в подобных условиях. А то была, безусловно, классика жанра. Теперь многие представители начитанной общественности и даже некоторые профессионалы прочно ассоциируют фамилию Заславская и словосочетание «неперспективная деревня». Между тем исследователи-полевики под руководством Т. И. Заславской, рискуя прозвучать в диссонанс с политикой партии, писали, что «процесс ускоренной потери населения, ранее бывший уделом малой деревни, распространился на среднюю, а кое-где – и на крупную. Выходит, что с точки зрения общественных интересов, малую деревню следует не ликвидировать, а по возможности сохранять» (Заславская, Рывкина 1981: 7). Зато это вступало в резонанс со здравым смыслом. Поэтому завершим наше размышление о закономерностях и особенностях «первой и второй коллективизаций», высказав надежду, что там, где не представилось возможности сохранить, появится возможность восстановить.

Литература

Анфимов, А. М. 2002. *П. А. Столыпин и российское крестьянство*. М.: ИРИ РАН.

Бабашкин, В. В.

2007. *Россия в 1902–1935 гг. как аграрное общество: закономерности и особенности отечественной модернизации*. М.: РГАЗУ.

2015. *Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке*. М.: Политическая энциклопедия.

Данилов, В. П.

1992. *Аграрная реформа и аграрные революции в России*. В: Гордон, А. В. (ред.), *Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире*. М.: Прогресс-Академия.

1996. *Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг. Крестьяне и власть: материалы конференции*. М.; Тамбов, с. 4–23.

1997. *Не смей! Все наше! Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг. Россия 7: 15–20*.

1999. *Сталинизм и крестьянство. Сталинизм в российской провинции*. Смоленск.

2006. *Судьбы сельского хозяйства России (1861–2001 гг.). Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки*. 2005. М.: МВШСЭН.

Дискуссионные проблемы аграрной эволюции пореформенной России (1861–1917). Стенограмма семинара. *Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки*. 2014. М.: Дело.

Закрытое письмо ЦК ВКП(б) о задачах колхозного строительства в связи с укрупнением мелких колхозов. 2 апреля 1951 года. 2006. В: Сталин, И. В., *Соч.* Т. 18. Тверь: Союз, с. 678–685.

Заславская, Т. И. 2007. *Избранное*: в 3 т. Т. 3. *Моя жизнь: воспоминания и размышления*. М.: Экономика.

Заславская, Т., Рывкина, И. 1981. Сибирская деревня: социальный портрет (окончание). *Сельская новь* 12.

Зырянов, П. Н. 2015. «Школа Сидорова». Воспоминания младшего современника. *Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки*. М.: Дело.

Кабанов, В. В. 1996. Судьбы кооперации в Советской России: проблемы историографии. В: Афанасьев, Ю. Н., Ивницкий, Н. А. (ред.), *Судьбы российского крестьянства*. М.: Изд-во РГГУ.

Колганов, А. И. 2016. Рецензия на книгу: Сталинизм и крестьянство: сборник научных статей и материалов круглых столов и заседаний теоретического семинара «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории» / под ред. П. П. Марчени, С. Ю. Разина. М., 2014. *Вопросы истории* 3: 169–175.

Кондрашин, В. В. 2008. «Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг.»: научный проект и научная концепция (предварительные заметки). *Уральский исторический вестник* 2(19): 85–89.

Косолапов, Р. И. 2002. *Слово товарищу Сталину!* М.: Эксмо.

Марченя, П. П. 2013. Марченя П. П., Разин С. Ю. Сталинизм и крестьянство. По итогам первого Международного круглого стола – третьего заседания теоретического семинара «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории». *Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки*. М.: Дело.

Никулин, А. М. 2014. *Аграрники, власть и село: от прошлого к настоящему*. М.: Дело.

Островский, А. В. 2014. Существовал ли системный кризис в России начала XX в.? Критика концепции Б. Миронова. *Общественные науки и современность* 2: 124–138.

Рязанов, В. Т. 2011. Реформа 1861 года в России: причины и исторические уроки. *Крестьянская реформа 1861 г.: итоги и последствия*. М.: ИЭ РАН.

Скотт, Дж.

1996. Обыденные формы сопротивления крестьян. *Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник*. М.: Аспект Пресс.

2005. *Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий человеческой жизни*. М.: Университетская книга.

Толстов, С. И. 2012. Крестьянская идентичность в колхозно-совхозной деревне Сибири. В: Никулин, А. М. (общ. ред.), *Вторая Россия: дифференциация и самоорганизация*: сб. науч. ст. М.: Дело.

Усольцева, О. В. 2013. Управление сельским расселением в СССР в 1950–1980-е годы сквозь призму методологических подходов Дж. Скотта (на материалах Томской области). *Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки*. М.: Дело.

Чаянов, А. В. 1992. Организация крестьянского хозяйства. В: Гордон, А. В. (ред.), *Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире*. М.: Прогресс-Академия.

Яхновская, С. В. 2014. «Наш маленький Маркс»: из истории хрущевского агропроектирования. *Родина* 10: 28–30.

Scott, J. C.

1976. *Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South-east Asia*. New Haven; London: The Murray Printing Co.

1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.

Shanin, T. 1990. *Defining Peasants. Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary World*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.